



А. А. ГРИГОРЬЕВ

Гоголь и его последняя книга

И понятно тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста.

Все глухо, могила повсюду.

Боже! Пусто и страшно становится в Твоем мире!

(«Выбранные места из переписки с друзьями»

*Н. Гоголя, стр. 284)*¹

1

Последняя книга Гоголя составляет чуть ли не самый важный вопрос нашей литературы в настоящую минуту, не только сама по себе, но и по отношению к партиям, в которых этот вопрос нашел себе различные ответы. Книга эта — «Выбранные места из переписки с друзьями» — сделалась уже не простым литературным явлением, но делом, процессом литературным. Еще за несколько времени до появления своего в свете она возбуждала толки, еще предисловие ко второму изданию «Мертвых душ» встречено было неприязненно², хотя, собственно говоря, в этом предисловии нет ничего такого, что не было прежде сказано поэтом, на что по крайней мере не было сделано им намека. Партия, встретившая неприязненно предисловие к «Мертвым душам», может быть, не заметила, что она противоречит самой себе и более еще противоречит современному значению искусства, которое сошло с своих прежних ходуль, совлеклось с туманного нимба, существует для всех и каждого, дает в себе часть всем и каждому. То время, когда поэт мог сказать себе: «Ты царь — живи один!»³, уже прошло — не знаем, ко вреду ли искусства, но, во всяком случае, не ко вреду общественного развития. Повторяем опять, что же тут мудреного, что поэт, который хочет создать народную эпопею, прислушивается к голосу народа?.. Неприязненность встречи предисловия ко второму изданию «Мертвых душ» объясняется только последнею книгою Гоголя, о которой давно уже ходили темные слухи в обществе. Партия, складывавшая для Гоголя пьедестал из бранных

остатков всей прошедшей литературы, до тех пор только поклонялась своему кумиру, пока не видела — или, лучше сказать, могла еще не видеть — слишком яркого различия его образа мышления от ее образа мышления, ибо, в настоящую минуту, говоря словами этой странной книги Гоголя: «Уже умные люди начинают говорить, хоть противу собственного убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того, что гордость не позволяет сознаться пред всеми в ошибке», ибо в настоящую минуту — и этим мы в особенности обязаны всепримиряющему понятию гегелевского развития — исчезла во многом и во многих вера в то, что

Das Wahre war schon längst gefunden,
 Hat elde Geisterschaft verbunden
 Das ulie Wahre fass es an *⁴.

И умственное отчаяние заставило уцепиться, как за доску спасения, за истину личную или вообще за личность. Личность — вот последнее слово германского мышления, и до тех пор, пока в Гоголе видели мы только величайшего аналитика личности, отыскивающего в нас и в себе Хлестаковых, Чичиковых, Акакиев Акакиевичей, пока он не произнес суд над этой личностью, — мы все, более или менее, видели в нем, так сказать, оправдателя и восстановителя; мы предобродушно верили оправданию Чичикова и не понимали, какие иные образы поднимутся «из облеченной в святой ужас и блистание главы»⁵; мы бессознательно, на веру восхищались лирическим пафосом поэмы.

И вот сам Гоголь сказал слово в объяснение собственных созданий, сказал его, беспощадно обнаживши перед нами свою болезненность самого себя, всю нашу общую болезненность... И хотя бы дельным противоречием встречено было это важное слово; с какою-то непонятною легкостью выслушала это слово самая добросовестная из партий⁶, и цинически обрадовалась ему другая, обрадовалась потому, что нашла случай, время и место сказать о самой себе, что вот-де что говорит *сам* Гоголь, так превознесенный, что мы были, дескать, правы, говоря о нем то-то и то-то. Встреча, вполне достой-

* Издревле правда нам открылась,
 В сердцах высоких утвердилась,
 Старинной правды не забудь (*нем*).

ная общества, которое от всех тяжелых, общечеловеческих вопросов приняло только голые результаты, вполне соответствующие духу партий, борющихся не за вечную истину, а за свое собственное бедное существование...

Но что же сказал Гоголь, что могло бы быть загадкой после его предшествовавшей деятельности, справедливо оцененной одними, умышленно непонятой другими, теперь обрадовавшимися партиями? Чем уклонился он от своего направления?.. Он выступил только как мыслитель, правда, слабый, однако как мыслитель-художник, с теми вопросами, которые развивал он как художник-мыслитель; выступил, не скрывая ни перед кем своего болезненного настроя, придавая важность жизни своей, которая привела его к известному разрешению вопросов... И для нас важно не столько то разрешение, которое представляется ему успокоительным, сколько созерцание того пути, по которому он дошел до него. Ужели явление столь знаменательное, столь сильно возбуждающее раздумье не представляет для критики никакой другой обязанности, как только указывать перстом на те места в книжке Гоголя, которые, особенно взятые отдельно, представляют явную, для всех наглядную нелепость? Можно ли назвать вполне обдуманными обвинениями детские шутки одних, заносчивые убеждения других и поправки русского языка, которыми в особенности занялись даже самые ревностные поборники, действительно, часто неправильной, но всегда своеобразной, всегда пластической гоголевской речи?

Один голос высказал свое мнение весьма прямо и благородно, не стесняясь даже уважением к Гоголю, и, к чести наших поэтов вообще, это — голос поэта. С г. Э. Губером следует говорить и спорить серьезно. Очень добросовестна еще, но вместе и довольно односторонняя, была рецензия «Литературной газеты»⁷, с ней мы будем иметь дело при подробном обзоре содержания всей книги Гоголя*.

Выписываем с точностью пункты обвинения на Гоголя из рецензии г. Губера⁹, помещенной в 35 № «С.-Петербургских ведомостей»:

Литератор с огромным дарованием, с метким, наблюдательным взглядом, с решительным направлением и с твердыми убеждениями шел по дороге, на которую указывало ему внутреннее призвание;

* «Письмо к Гоголю» г. Павлова⁸ появилось уже после того, как статья была написана.

знание жизни и людей, умение находить смешную сторону в самых мелочных вещах, неровный, неправильный, но оригинальный язык и резкое неожиданное остроумие наложили на все его произведения особенный, странный, но самостоятельный характер. Несколько книг, написанных этим человеком, дали ему громкое имя, верных друзей, пламенных поклонников и неумолимых врагов; его хвалили до нелепости, его бранили с ожесточением; вся Россия читала его повести; целая школа пошла по его направлению и подражала его приемам: каждое новое произведение, неоконченный отрывок, маленькая повесть делались событием в литературе, возбуждали общее внимание и порождали споры. Кажется, все, что только может требовать самое взыскательное самолюбие, было удовлетворено; все почести и волнения, которые иногда выпадают на долю литератора, были и его уделом. Но вдруг этот человек издает новую книгу, печатает несколько писем и несколько отдельных статей, в которых он с ожесточением восстает против собственного направления, уничтожает свои произведения и ругается над самим собой. В этой странной, удивительной книге литератор с огромным и признанным дарованием отрекается от самого себя, казнит с непостижимым самоотвержением всю свою прежнюю деятельность, опровергает и осмеивает все то, чем восхищались его поклонники, что с удовольствием читала вся Россия. После этого литературного аутодафе следуют великолепные обещания на будущее время: новые великие создания заменят старые, ничтожные произведения: гордое, зрелое, испытанное дарование развернется с новыми силами, поднимется и пойдет по новому пути. Россия услышит великое слово своего учителя, который, при самом непостижимом смирении, все-таки признает себя орудием судьбы, призванным для исполнения ее таинственных велений. Но пока исполнятся все эти великолепные обещания, пока явятся эти новые бессмертные создания, литератор, в задаток будущих благ и в искупление грехов своей молодости, издает несколько ничтожных писем и несколько странных, замысловатых статей.

Итак, вот обвинения, высказанные здесь хоть по крайней мере прямо, которые падают на Гоголя: 1) он изменяет своей деятельности и нападает на нее с ожесточением; 2) делает великолепные обещания и считает себя таинственным орудием судьбы; 3) в задаток издает несколько ничтожных писем и пр. Предполагая отвечать на последнее обвинение изложением содержания самой книги, обратимся к двум первым.

Во всей книге Гоголь два раза только говорит о самом себе как о писателе, — везде в других местах он касается себя только

как человека, столько же, как все мы, если не более всех, болезненного. Из этих двух мест в *завещании* своем вопрос о писателе Гоголь так сливает с вопросом о человеке, что писатель и человек становятся совершенно неразделимы. Мнения Гоголя могут быть несправедливы, — да, собственно говоря, те мнения его, чисто личные, которые он высказывает в завещании, и не могут быть иными, потому что порождены болезненным настроением и, может быть, в известном смысле, последнюю степенью отчаянья скептицизма, общего нашему веку, — но почему Гоголь не имел бы право написать это завещание? «Я писатель, — говорит он в самом этом завещании, — а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу: строго взыщется с него, если от сочинения его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям». Еще более говорит он о долге писателя в письме о том, что такое слово. Человек, который так страдальчески, так задушевно смотрит на свое дело, стоит некоторого уважения даже и за свои заблуждения. «Да вспомнят также мои соотечественники, что и не будучи писателем, всякий отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поучения». К сожалению, мы все, более или менее, отвыкли смотреть на себя серьезно, и мысль Платона, что мы все здесь — светильники¹⁰, возженные для известной цели, звучит нам как-то странно, — нам непонятно, что человек, дороживший своею деятельностью, дорожит каждым моментом в своей духовной жизни, хотя, вероятно, и не остановится на этом моменте; нам непонятно, что добросовестное мышление не в силах скрыть от себя и от других противоречий, которые так легко разрешит всякий, даже плохой софист, обманывающий себя на каждом шагу; нам непонятно, что можно дойти, наконец, на пути скептицизма и эгоизма до *бездны, неудержимо поглощающей всякий конечный разум*, по выражению одной старой книги; нам непонятно, наконец, и то, что в природе, ищущей правды, слово и мысль становятся уже делом, — мы все закоснели в раздвоении мышления и жизни, — и оттого-то вырвалось у поэта, при взгляде на самого себя и на других, горькое восклицание: «*Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире!*»

В другом месте, где Гоголь говорит о самом себе как о писателе, он определяет сам себя как аналитика человеческой пошлости, но не как оправдателя ее, чем бы хотела, может быть, видеть его так называемая натуральная школа, не совсем понявшая своего

учителя... Но вопрос о Гоголе по отношению к его деятельности прежней и к школе, получившей от него начало, составит предмет второго отдела нашей статьи: «Гоголь как художник и мыслитель и натуральная школа», в которой мы постараемся доказать, что поэт даже и не думал *изменять* своей прежней деятельности, что последняя книга его только поясняет эту же самую деятельность.

2

Гоголь впервые выступил на литературное поприще с своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Это были еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые, как украинское небо, — все в них ясно и весело, самый юмор простодушен, как юмор народа, еще не слышать того злобного смеха, который после является единственным честным лицом в произведениях Гоголя, — хотя в то же самое время и здесь, уже в этих первых поэтических впечатлениях, выступает ярко особенное свойство таланта нашего поэта — *свойство очертить всю пошлость пошлого человека*¹¹ и *выставить на вид все мелочи, так что они у него ярко бросятся на глаза* (слова последней книги Гоголя); это свойство здесь не выступило еще карающим смехом, оно добродушно, как шутка, и потому как-то легко, как-то светло на душе читателя, как светло и легко на душе самого поэта, еще не вышедшего из-под обаяния родного неба, еще напоенного благоуханием черемух его Украины. Ни один писатель, может быть, после древних, не одарен таким полным, гармоническим сочувствием с природою, как Гоголь; ни один писатель не носит в себе, как он, такого пластического постижения красоты (вспомните только Аннунциату в его «Риме», это создание могущественной кисти мастеров древней Италии), красоты полной, существующей для всех и для всего, — никто, наконец, как этот человек, призванный очертить пошлость пошлого человека, не полон так сознания о прекрасном человеке, прекрасном физически и нравственно, — и по тому самому ни один писатель не обдаёт вашей души такою тяжелою грустью, как Гоголь, когда он беспощадно разнимает трупы, обливается желчью и негодованием над утраченным образом Божиим в человеке, образом вечно прекрасного. Но в «Вечерах на хуторе», как мы сказали, все еще светло и наивно, в самом пороке отыскивает еще поэт добродушную сторону, и образ пьяного Каленика, отплясывающего

трепака на улице в ночь на Рождество Христово¹² — еще чисто гомерический образ. В этом быте, простом и непосредственном быте Украины, поэт видит свою Галю — чудное существо, которое спит в *божественную ночь, очаровательную ночь*, раскинув черные косы, под украинским небом, на котором серпом стоит месяц... все еще полно таинственного обаяния — и прозрачность озера, и фантастические пляски ведьм, и образ утопленницы, запечатленный какой-то светлой грустью. А Сорочинская ярмарка, с шумом и толкотнёю ее повседневной жизни, а ночь на Рождество Христово, с молодым кузнецом Вакулой и с его гордой красавицей Оксаной, а исполинские образы двух братьев Карпатских гор, осужденных на страшную казнь за гробом¹³, эти дантовские образы народных преданий, — все это еще и светло, и таинственно, как лепет ребенка и сказки старухи няньки. Но недолго любовался поэт этим бытом, радовался беспечной радостью художнического воссоздания этого быта... Он кончил его апотеозу великой эпопеей о Тарасе Бульбе и дивною легендой о Вии, где вся природа его страны говорит с ним шелестом трав и листьев в прозрачную летнюю ночь, и где между тем в тоске безысходной, в замирании сердца мчащегося с ведьмою по бесконечной степи философа Хомя слышится невольно тоска самого художника, переходящая и на читателя; разделавшись навсегда с обаянием своего родного края в этой части своего «Миргорода», Гоголь взглянул оком аналитика на этот быт; простодушно, как прежде, принялся было он чертить высоко человеческие фигуры Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны¹⁴ — и остановился в тяжелом раздумье над страшным трагическим *fatum* *, лежавшим в самой крепости, в самой непосредственности их отношения; он с безыскусственною верностью стал изображать бесплодные существования Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича — и имел полное право воскликнуть впервые, кончая эту трагическую комедию: *скучно на этом свете, господа!* — как мог и имел право сказать в конце своей последней книги: *пусто и страшно становится в Твоем мире, мой Боже!* С этой минуты он уже взял в руки анатомический нож, с этой минуты он обозначил свой путь, ибо Иван Иванович и Иван Никифорович, изображенные здесь еще беспритязательно, еще без злости, еще возбуждающие только вопль на скуку жизни, выступают потом страшными лицами

* Рок, судьба (лат.).

«Ревизора» и «Мертвых душ»; Афанасий Иванович пополняется потом Плюшкиным, в котором потеря одного чувства, с одной стороны, и чудовище-привычка¹⁵ — с другой, довели человека до окончательного отпадения от образа Божия.

Раз пошедши по этому пути, раз взявшись за скальпель, поэт шел, не изменяя своему направлению, хотя сначала еще, так сказать, боролся с ним, еще не заглушил своего личного ропота, — и найдите мне, хоть в Ювенале, тот благородный пафос негодования, тот лиризм вдохновенный, каким проникнуты его «Невский проспект», «Портрет», «Сцены матери с сыном»¹⁶ и т. д., — но все глубже и глубже опускался скальпель, все замолкал и замолкал этот личный ропот, и в «Записках сумасшедшего» беспощадно, без всякого примирения, следится уже страшная мысль; в «Ревизоре» один смех только выступает честным и карающим лицом, слышен из-за хвастовства Хлестакова, из-за богохульных речей городничего. В «Женитьбе» даже колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно безволию Гамлета и прыжок его в окно — такой же акт отчаяния, бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем. Наконец, в образе Акакия Акакьевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим *fatum* в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного; волос становится дыбом от злобно-холодного юмора, с которым следится это обмеление; а «Игроки», а нагло-пристойный тон Утешительного — эти разговоры негодяев и мерзавцев о том, что человек обязан всего себя посвятить обществу, — а эта ложь вообще, сетями которой опутаны вообще гоголевские лица, — ложь или бессознательная или сознательная, но всегда выражающаяся словами Божьей правды; этот городничий с богомольною речью, этот Степан Иванович Утешительный с мыслью о посвящении себя на пользу обществу; эта матушка в сцене, носящей название отрывка, но между тем составляющей полную законченную драму, — эта матушка с ее нервическими припадками, с ее восклицанием: *«Истинно одна только вера в Провидение меня поддержала...»* Страшные лица, страшные степени падения, над которыми человек невольно остановится с болезненными словами Гамлета:

Смотри, как все там мрачно и уныло,
Как будто наступает Страшный суд!¹⁷ —

или повторит уже несколько раз приведенное нами восклицание Гоголя.

«Мертвые души» суть последнее слово всей предшествовавшей деятельности Гоголя. и, несмотря на строгий, художнический суд над ними самого автора, все-таки это подвиг благородный и высокий, и притом предназначенный не для оправдания человеческой пошлости, чем бы хотели их видеть некоторые близорукие, хотя и добросовестные люди. Предшествовавшая деятельность Гоголя делает понятными лирические места его поэмы — понятным, что поэт может не обещать только, но и действительно перейти к иным образам, — и степени человеческого просветления изображать точно так же свято и верно, как степени падения и обмеления; она делает, наконец, понятным появление последней книги Гоголя — этого строгого суда его над самим собою и над личностью, суда честного, но, разумеется, и болезненного, — преимущественно назидательного для школы, признавшей поэта своим вождем и главою и нисколько не понявшей своего учителя. Школа эта, названная ее довольно жалкими противниками *натуральной*¹⁸, увидела в Гоголе только оправдателя и восстановителя всякой мелочной личности, всякого микроскопического существования, она пошла дальше в этом оправдании и вдалась, с одной стороны, в сантиментальное поклонение добродетелям Макара Алексеевича Девушкина и Варвары Алексеевны (в романе «Бедные люди»), забывши слово Гоголя, что опошлел образ добродетельного человека¹⁹, — с другой стороны, до того углубилась в созерцание личности, что дала гражданство всякой претензии в патологической истории о Голядкине-старшем²⁰, где человек является уже вполне рабом — рабом, для которого нет исхода из его рабства.

3

Переходя к изложению содержания *странной* книги Гоголя, мы еще раз повторяем, что книга эта есть болезненный момент в его духовном развитии, и самую эту болезненность должны мы принять точкою исхода для суда над самою книгою. Прежде всего болезненность эта не есть чисто *личная*, гоголевская; она обща всем сынам эпохи более или менее; не всякого, правда, приводит

она к результатам, к которым в настоящую минуту приведен сам Гоголь, но тем не менее самые эти результаты и не новы, и не необыкновенны. Вот что сам поэт говорит об этой болезненности, вот в чем мыслитель ищет корня зла:

Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и гоняться за людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим, глупейшие законы дает миру, какие доселе еще не давались, и мир это видит и не смеет ослушаться! Что значит эта мода ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что есть главного и лучшего в человеке. Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа — и между тем боится не исполнить ее малейшего приказания, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветренники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бессмысленные приличия, которые стали сильнее всяких коренных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божие помазанники остались в стороне, — люди темные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мнениями умных людей? И газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительно законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу, кажется, сила, — и мир это видит все, и, как очарованный, не смеет шевельнуться.

По поводу этого места в переписке Гоголя мы осмеливаемся привести на память нашим читателям мнение другого, одного из благороднейших наших писателей, мыслителя, стоящего слишком уединенно, слишком вдали от всех, — кн. В.Ф. Одоевского, который на пути такого же мышления доходил до иных, безотрадных результатов, которого Мальтус приводил к страшному видению последнего дня человечества, которому утилитарность Бентама показала вдали *город без имени*²¹, эту грозную, бичующую сатиру на утилитарность, который, наконец, во многих местах своих глубоких, тяжкою думою порожденных суждений говорит о той же видимой, для него темной, силе, видит эту силу

повсюду и, наконец, вовсе не в шутку, считает одним из ее самых верных средств — карты, уравнивающие все и всех²²; но то, о чем Одоевский говорит с полунасмешливою, с полугрустною улыбкою мистика, то самое Гоголь высказывает со всею энергиею, со всею беспощадной последовательностью стойка, ибо иначе и не мог он этого высказать, ставши, против воли своей и желания, вождем школы, которая, углубившись в рассматривание макроскопических личностей, стала идти путем того же самого начала, которое он теперь отрицает, и самая встреча книги Гоголя доказывает всего лучше всю страшную истину его слов: «Уже одна чистая злоба воцарилась вместо ума». Что гордость составляет болезнь нашего века, это в высшей степени ясно и понятно: гордость и отрицание, со времени Байрона, постоянно обтекаются в роскошные поэтические образы.

Как царь немой и гордый, он сиял
Такой волшебнo-чудной красотою,
Что было страшно... —

говорит Лермонтов о Демоне, которого не пел никто лучше его; еще проще выразил поклонение гордости весьма замечательный поэт его школы, г. Тургенев, в известных стихах своей «Параши».

...Она была горда.
(А гордость — добродетель, господа!)

Но эта демоническая, личная гордость, запутавшись в оковах, все более и более поглощающих силу общественных понятий, понятий всех и каждого, действительно повинуетея идее условного приличия: вспомните только Онегина, который потому только убивает бедного Ленского, что

...в это дело
Вмешался старый дуэлист,

то есть *Загорецкий* — пустой человек, презираемый им вполне; вспомните Печорина, который перед дуэлью с Грушницким глядится в зеркало; вспомните, наконец, Зандова Ораса, в котором ложь и рабство развились до полного уничтожения в нем всякого истинного чувства, который позирует даже перед мухами, который

пишет два романа на любовь свою с Мартою...²³ Что же такое эта темная, то есть неизвестная, никому не ведомая сила, которая подчиняет себе все посредством швей и портных, уравнивает все за картами, на господство которой восстают Гоголь и Одоевский? Сила эта — легион, «множество», — как некогда сама она ответила Божественному Учителю²⁴, — и о результатах ее прямого появления, о судьбах света в борьбе со тьмою — судить не нам, конечно, не Гоголю и Одоевскому также, а Тому, пред очами Которого проходят миллионы миров и века за веками, Кто допустил тьму до проявления света.

Итак, вот одна сторона всеобщей болезни, отмеченная Гоголем и Одоевским, — это власть творимой силы множества над всяким и каждым, несмотря на демоническую силу личности; но в каждой личности отдельно таится еще злой и страшный недуг безволия, или точнее сказать, рассеяния сил, потерявших в человеке центр, точку опоры, — тот недуг, о котором беспрестанно говорят нам и поэты лирической школы, который так резко, иногда даже до цинизма резко, клеймит Гоголь в его книге.

«Все теперь расплылось и расшнуровалось. Дрянь и тряпка стал всяк человек; обратил себя в подлое подножие всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в истинном ее смысле».

Это резко, но это правда, и величайшая заслуга книги Гоголя, то есть настоящего момента его духовного развития, это — навести многих на мысль о едином, истинном для всякой личности, на мысль о сосредоточении, о собрании себя всего в самого себя — эта мысль пронизывает, так сказать, всю книгу Гоголя, оправдывает многие чисто личные его убеждения, которые вовсе не смешны с этой точки зрения, вопреки мнению многих благомыслящих людей, которые хотят видеть в них одну смешную сторону. Положим, что, действительно, довольно странны советы Гоголя, хоть, например, одной даме, разделить все доходы на семь кучек и т. д., но в совете этом странна только форма, а самое начало сосредоточения сил проведено вполне, даже с какою-то стоической жестокостью.

«Если бы даже, — говорит он (стр. 181), — вы были свидетельницей картины несчастья, раздирающего сердце, и вы видели бы сами, что денежная помощь может помочь, — не смейте и тогда дотрагиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость:

просите, молитесь, *будьте готовы даже на унижение себя*, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были *из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному*.

Такой совет странен, правда, неприличен, пожалуй, но ничуть не смешон: унижение самого себя не выставляется здесь на поклонение, как искусство для искусства, как само себе служащее целью, — здесь виден стоик, который смотрит на него как на урок, необходимый на трудном пути сосредоточения; тот же самый смысл имеет и восклицание, поразившее всех, восклицание: «О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха!» (стр. 192). Повторяем опять, все это странно, потому что по болезненности момента, в котором находится Гоголь, приняло странные формы, но нисколько не смешно и еще менее того отвратительно... Начало сосредоточения слишком ярко представилось поэту, и всякий, кто только жил жизнью духа, кто только способен жить жизнью духа, — способен и усвоить один принцип, вне странных форм, чем устраняется мнение, что книга Гоголя может ввести многих в заблуждение.

Was vergehen muss, — vergeht,
Was bestehen kann, — besteht *,

и человек мыслящий в книге Гоголя найдет повод к дальнейшему мышлению, а на массу он если и подействует, то подействует своим пуритански-строгим, стоическим духом, следственно, тем же самым началом сосредоточения.

4

Теперь остается нам проследить содержание новой книги Гоголя.

Замечательно самое предисловие к этой странной переписке. Человек, стоявший во главе современной русской литературы, начинает прямо тем, что издаваемою им перепискою *он хочет испустить бесполезность всего, доселе им напечатанного*; не есть ли

* Что должно пройти — пройдет.

Что может сохраниться — сохранится (нем.).

это смиренное сознание просто сознание сил собственных, сил гения, который все, доселе им созданное, сбрасывает, как ветхую оболочку? «Сердце мое, — продолжает Гоголь, — говорит мне, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, чтобы имел высокое понятие о себе, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желания быть полезным... От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, — помогаем же не мы, помогает Бог, ниспосылая силу слову бессильному. Итак, сколько бы ни была книга моя незначительна и ничтожна...» и т. д. И здесь, точно так же, как и во всей книге, видно, что Гоголь вовсе не дорожит самою книгою, но дорожит по всему праву моментом своей духовной жизни; нося в самом себе слишком большие силы, стоя всегда выше своих созданий, он стоит также выше и этой переписки, но вполне прав, указывая на нее как на результат своего предшествовавшего развития... Он дорожит этим развитием, потому что ведет его до крайних граней, но на этих даже крайних гранях скептицизм его не оставляет, для доказательства чего указываем на место о бессильной молитве, оканчивающее это предисловие.

Что касается до его *завещания*, то вопрос о том, имел ли Гоголь право обратиться ко всем с этим личным завещанием, связан, во-первых, с правом голоса всякой личности в общем деле, во-вторых — с прошедшим самого Гоголя. Что касается до первого, то Гоголь опять дорожит в своей личности не самою личностью, а тем, чем должен дорожить в ней каждый из нас — сознанием, то есть опять-таки нравственным результатом своей жизни. Разве Руссо имел больше права на свою исповедь? Разве в исповеди его не видно примеси личного, не совсем чистого элемента, того элемента, о котором сказано в глубоко знаменательном хоре ангелов, несущих Unsterbliches * Фауста:

Und wär er von Asbest,
Er ist nicht reine **, —

того элемента, который разрешить на составные части может только вечная любовь, по словам того же хора?.. И не больше ли

* Бессмертное (нем.).

** И будь он из асбеста,
Он не чист (нем.)²⁵.

не правы те, которые хотят совершенно устранить права личности, предоставляя разрешение известных вопросов только известной же касте, как г. Губер, нежели сама личность, смело подъявшая свой голос?.. С другой стороны, прошедшая деятельность поэта, признание его всеми мыслящими людьми России главою целой школы, гением, проложившим совершенно новую стезю в искусстве, не оправдывает ли его достойного, но, действительно, уверенного тона, с которым он говорит о самом себе и делает распоряжения о своих сочинениях? Одно, в чем можно, действительно, упрекнуть это подвергнувшееся общему гонению завещание — это его странная, болезненная неясность, с одной стороны, и стоицизм, доведенный до последней степени, до какого-то неестественного презрения к оболочке своей души и к самой личности, презрения, которое близко граничит с поклонением, — что в том же самом завещании Гоголь, отвергая всякое значение своей и, следовательно, всякой человеческой личности, говорит, что «если рановременно похищаются люди всем нужные, то это закон гнева небесного», — забывая, что не нам, а небу судить о том, нужны или не нужны люди; ясно, что в этом случае Гоголь впал в противоречие, общее всем стоикам.

Но оставляя в стороне это завещание, решающее только слишком ясно вопрос о степени духовного развития самого поэта, обращаемся к вопросам, занимающим ныне общество, по признанию самого Гоголя, вопросам, так или иначе разрешаемым его книгою.

И на первом месте является вопрос о женщине, потому ли, что поэт сам слишком понимает всю важность этого вопроса, по другим ли каким-либо причинам. Но, в самом деле, в настоящую минуту общественного развития *меньшие*, то есть женщины, дети и бедные, составляют почти единственный вопрос, вопрос, который составляет великую историческую задачу христианства. Путь, избранный современным мышлением для разрешения вопроса о женщине, уже теперь окончательно обозначился и оказался не совсем верным; по крайней мере становится опять ясна, как день, весьма простая истина, что женщина не может быть равна мужчине даже по простым физиологическим причинам, если только, как Зандова Лелия²⁶, не отвергает она своей собственной женской сущности; с другой стороны, самая свобода отношений мужчины и женщины, при настоящем устройстве общества, ведет не более не менее как к тем же грустным результатам, к каким привело великую

женщину ее добросовестное мышление в «Лукреции Флориани». У самой Занд, сохранившей во многом девственно-поэтическую чистоту, женщина — как в «La Mare au Diable» * и в некоторых других созданиях — является спасающим, примирительным, так сказать, влажным элементом в отношении к мужчине, тем Ewig-Weibliche **, которое спасает Фауста, то есть человека. Точно так же смотрит на женщину и Гоголь, и уж, разумеется, нельзя упрекнуть в идеальности воззрения человека, который способен начертать дивно пластический образ Аннуциаты и так горько плакать, как плачет он над погибшею женственностью в своем «Невском проспекте»... Понимая глубоко борьбу и разделение, господствующие в обществе, он не лишает женщины части в этой борьбе, но какое мягкое, какое светлое значение дает он этой борьбе в отношении к другим и какой тяжелый крест налагает он на нее в отношении к самой себе. С одной стороны, дает он ей орудием ее красоты: «ибо красота женщины, — по словам его, — еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны», — и не учит он женщину «соблазнять улыбкою на доброе дело», — как выразился остроумно, но несправедливо г. Павлов, — ибо соблазна нет в отношении к добру, а отвергать всякое участие других в наших добрых делах — значит проводить стоицизм еще далее, чем проводит его сам Гоголь; с другой стороны, в письме о том, чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, возмутившем всех странностью формы даваемых в нем советов, Гоголь, *нигде не видя мужа*, внушает женщине стоицизм, доходящий до совершенной победы над самим сердцем. Советы эти, — и о семи кучах дохода, и о том, чтобы не дотрогивались до других куч, даже при виде картины бедности, — вполне объясняются желанием собрать воедино рассеянные и расплывшиеся силы человека, хотя бы посредством женщины; они странны и нелепы в своей форме, но не смешны даже в самых выписках с подчеркнутыми словами. Формы переходящи, могут быть и не быть, — а призыв внутреннего человека собрать себя всего воедино, призыв женщине содействовать этому и дарами, ей данными, и несением креста собственного вполне соответствуют

* «Чертова лужа» (фр.).

** Вечно женственным (нем.).

духу Того, в малом стаде Которого *овому дается дух пророчества, овому дар языков, овому любовь*²⁷ и перед Которым все равно суть члены единого, нераздельного целого и в этом смысле не знают *ни рабов, ни свободных, ни мужска пола, ни женска.*

5

В письме о том, «что такое слово», следующем непосредственно за письмом о значении женщины в свете, Гоголь высказывает мысль, не новую, правда, — что *«обращаться со словом нужно честно»*, — но которую напомнить весьма недурно было ему обращения своим, писателям, не только нашим, но и европейским. Настоящая литературная эпоха, с ее «Жидами», «Тайнами»²⁸ и проч., есть эпоха осквернения слова. Может быть, такой момент низведения искусства до самой низшей степени и необходим в развитии вообще, но никто не станет отвергать, что он пагубен для искусства. Гоголь же смотрит на свое дело как истинный художник и как человек, который дорожит своим призванием, — тот же высокий взгляд на искусство высказывает он и в письме «о чтениях русских поэтов перед публикою», только, к сожалению, Гоголь как-то слишком простодушно верит в то, что «сила таких чтений сообщится всем и произведет чудо: потрясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии».

В письме о помощи бедным Гоголь оставляет в стороне вопрос, занимающий в настоящую минуту более всего общество, — вопрос о бедных вообще и о том, полезно ли помогать только известным бедным, — он дает только советы, очень благоразумные, о том, как помогать, хотя в то же самое время замечает весьма справедливо и метко, что «пожертвования собственно в пользу бедных делаются у нас весьма неохотно, отчасти потому, что не всякий уверен, дойдет ли как следует до места назначения его пожертвование, попадет ли именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частью случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде нежели донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего».

Письмо об «Одиссее», переводимой Жуковским, страдает одною только излишнею верою Гоголя в силу искусства и в восприимчивость массы. «По-моему, — говорит он, — все нынешние обстоятельства обставились так, чтобы сделать появление “Одиссеи” почти

необходимым в настоящее время. В литературе, как и во всем, охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереважившихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои». Все это изображение современного состояния литературы совершенно справедливо, хотя слишком резко и слишком колет глаза своей резкостью, — справедливо в высшей степени и все то, что поэт говорит о самой «Одиссее»; но, к сожалению, несправедливо то, что он говорит о влиянии, которое произведет она на писателей, на вкус и развитие эстетического чувства и проч.

В письме «о лиризме наших поэтов» Гоголь говорит, что «в нем есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно что-то близкое к библейскому, то высшее состояние лиризма, которое чуждо увлечений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости», — мысль довольно верна и подтверждена потом примерами. То, что мимоходом в этом письме говорит Гоголь о политическом состоянии Европы, страдает необычайною односторонностью, но несколько не противоречит прежним убеждениям Гоголя.

Зато на споры о наших европейских и славянских началах, в письме XI, никто до сих пор не смотрел беспристрастнее Гоголя. «Кичливости больше на стороне славянистов, — говорит он, — они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европейцев, которые давно бы готовы были от многого отступить; потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку».

То, что в следующем письме говорится Гоголем о пути внутреннего усовершенствования человека, о бесконечном стремлении, о той мудрости, которая отовсюду извлекает совет, — принадлежит к числу тех *неновых истин*, которых разумение, однако, все более и более утрачивается расплывшимся, не умеющим сосредоточиться человеком.

Совершенно верно то, что в письме XIV говорит Гоголь об односторонности и о значении театра, равно как и то, что в письме XV говорит он о предметах для лирического поэта в наше время, за исключением, разумеется, припадков одностороннего патриотизма; ибо, право, непонятно, почему только русский человек способен в виду всех плюнуть на свою мерзость, так же, как в письме XVII непонятно в высшей степени и что Гоголь называет просвещением и почему слово «просвещение» есть только у нас, когда немецкое слово «Aufklärung» значит решительно то же самое.

О письмах по поводу «Мертвых душ» говорено слишком много всеми, но все, более или менее, обращали внимание на странности выражений — на нецеремонность тона Гоголя, когда он говорит о самом себе, но, собственно говоря, это — простодушная, безыскусственная честная исповедь художника, который дорожит своим делом. Самые слова Гоголя о том, что *рожден он вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной*, и что *дело его — душа и прямое дело жизни*, нельзя понимать ни как ложное смирение, ни как отречение от своей деятельности. Прямое дело жизни для него, как для художника, есть искусство, производить же эпоху, то есть стоять во главе партии он не хочет, вот и все... Одним словом, везде, где Гоголь говорит об искусстве, в письмах ли о «Мертвых душах», в письме ли о художнике Иванове²⁹, в письме ли о том, «в чем, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», особенно отличающемся тонкостью и нежностью взгляда, виден прежний Гоголь «Портрета», «Рима», «Разъезда после представления», так, как во всем взгляде на русский быт, во всех довольно странных советах помещику виден Гоголь «Мертвых душ», так, как, наконец, в письме о Светлом Воскресении, где поэт, больной сам недугами века, разоблачает их с искренностью и глубиной, виден прежний же мыслитель Гоголь, творец «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего» и «Шинели».

